

Маруся
КЛИМОВА



Маруся Климова
Моя АНТИистория русской литературы
Серия «Без цензуры (АСТ)»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8379295

Маруся Климова. Моя антиистория русской литературы: АСТ; Москва; 2014
ISBN 978-5-17-086589-5

Аннотация

Маруся Климова на протяжении многих лет остается одним из символов петербургской богемы. Ее произведения издаются крайне ограниченными тиражами, а имя устойчиво ассоциируется с такими яркими, но маргинальными явлениями современной российской культуры как «Митин журнал» и Новая Академия Тимура Новикова. Автор нескольких прозаических книг, она известна также как блестящая переводчица Луи-Фердинанда Селина, Жана Жене, Пьера Гийота, Моник Виттиг и других французских радикалов. В 2006 году Маруся была удостоена французского Ордена литературы и искусства.

«Моя АНТИистория русской литературы» – книга, жанр которой с трудом поддается определению, так как подобных книг в России еще не было. Маруся Климова не просто перечитывает русскую классику, но заново переписывает ее историю. Однако смысл книги не исчерпывается стремлением к тотальной переоценке ценностей – это еще и своеобразная интеллектуальная автобиография автора, в которой факты ее личной жизни переплетаются с судьбами литературных героев и писателей, а жесткие провокационные суждения – с юмором, точностью наблюдений и неподдельной искренностью.

Содержание

Введение	5
Глава 1	22
Глава 2	31
Глава 3	35
Глава 4	39
Глава 5	43
Глава 6	47
Глава 7	51
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Маруся Климова

Моя АНТИИстория русской литературы

© Маруся Климова, текст

© Зоя Черкасская, иллюстрации

© ООО «Издательство АСТ», 2014

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

©Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)

Введение



Русская литература берет свое начало с XVIII века, с конца XVIII... Все остальное теряется во мраке, во всяком случае для меня. Наверное, это уже древнерусская литература, которая, возможно, вовсе и не литература никакая, а выдумка. «Слово о полку Игореве» – новодел, подкинутый во время пожара. Очень может быть! Поэзия знаменитых причитаний Ярославны всегда оставалась для меня загадкой, – кажется, они все еще нуждаются в переводе с древнерусского. Многолетние бдения академика Лихачева, соцказ, выполненный Заболоцким, и, наконец, смелая трактовка некоего двадцатилетнего вундеркинда, внештатного сотрудника газеты «Известия» по фамилии Чернов, не оставили никакого следа в моей душе. Я лучше помню шлягер на стихи того же Чернова в исполнении Софии Ротару про кружащийся снег, на «лепестки похожий», который кружился и «радовал прохожих», далее следовал припев: «О, это было так внезапно!» В памяти застряла еще одна песня, связанная с Ярославной: «Хмуриться не надо, Лада! Нам столетья не преграда...» Эта песня появилась на свет в конце шестидесятых, накануне столетия Ленина, и, говорят, из-за этих слов едва не была запрещена. Вот, пожалуй, и все ассоциации, которые вызывает у меня «Слово о полку Игореве», а вместе с ним и вся древнерусская литература!

Да, чуть не забыла, еще одно воспоминание! Много позже, во времена поздней перестройки, мне довелось посетить одну из многочисленных тусовок тех лет, спровоцированную щедрым многотысячным грантом Сороса. Акция называлась «Невостребованная Россия». В спортзале расположенного в центре Ленинграда вуза были расставлены огромные фанерные щиты, на которые все желающие (вход в зал был абсолютно свободным) могли прикрепить кнопками краткое изложение своих невостребованных культурных проектов. Что я и сделала. Хотя суть своего проекта я теперь уже очень смутно помню: может, это было предложение издать мой перевод Селина, а может быть, и нет, не уверена. В зале, помимо щитов, стояло еще несколько столов, за которыми участники акции обсуждали самые разнообразные темы, например, философские взгляды Вернадского и их связь с мировоззрением Флоренского. Внешний вид присутствующих в зале, особенно сидевших за столами, был воистину пугающим: какие-то бомжовского вида, истощенные, взлохмаченные старцы

и старухи, а если там и попадались личности помоложе, то выглядели они ничуть не лучше. Впрочем, видимо, так и должны были выглядеть участники акции «Невостребованная Россия». Не востребованная кем? У меня было такое ощущение, что я попала на какое-то поле, заросшее совершенно чахлыми и обреченными на вымирание растениями, от которых отвернулась сама Природа. В довершение всего там же я натолкнулась на отца моей знакомой, некогда преуспевающего советского писателя, который теперь, как я слышала, был болен раком в последней стадии. Выглядел он ужасно – я даже не решилась подойти к нему и поздороваться. Здесь впервые меня посетили мысли о смерти не только литературы, но и культуры вообще. Сами эти мысли довольно банальны, но у меня это были даже не мысли, а какое-то животное инстинктивное чувство, не раз впоследствии посещавшее меня во время всевозможных литературных презентаций и вечеров: мне, как крысе, хотелось бежать с этого корабля.

И тем не менее, прежде чем покинуть зал, я решила все-таки удостовериться, что мой культурный проект дойдет до неведомого адресата, так как судьба невзрачного листочка, прикрепленного кнопкой к фанерному щиту, вызвала у меня серьезные опасения. Его ведь в любой момент мог кто угодно сорвать – любой завистник! Поэтому я поинтересовалась у сидевшей у входа на скамеечке девушки, как зовут самого главного учредителя этой акции. Выяснилось, что это никто иной, как автор новаторского перевода «Слова о полку Игореве» Чернов – в то время уже преуспевающий корреспондент столичной газеты «Известия». На мое счастье, он и сам в этот момент оказался поблизости: девушка за столом указала мне на одутловатого мужика лет пятидесяти в свитере. Он схватил мой листочек, засунул его в красную папку, которую держал под мышкой, и, пробормотав мне что-то невнятное, поспешно ретировался. Кажется, он был не очень доволен, что его идентифицировали, к тому же ему явно не хотелось чересчур меня обнадеживать. Его невзрачный свитерок и бегающие глазки мне тоже не понравились, и я не очень сожалела о непродолжительности нашего свидания. Но некоторое время спустя, поразмыслив над тем, как, не нарушая закона, при помощи нескольких столов и кусков фанеры, а также освободившегося на выходные зала можно положить себе в карман сразу несколько тысяч долларов, я поняла, что была не совсем справедлива к нему. Мне, перебивавшейся в то время с хлеба на квас, зачем-то сжегшей свой университетский диплом и вынужденной подрабатывать по ночам уборщицей в парикмахерской, эта идея показалась совсем не слабой. О, это было так внезапно!

В общем, русская литература началась со второй половины XVIII века, с Державина. Были, правда, еще некто по фамилии Тредиаковский, химик Ломоносов да утонувший в сортире Барков, но неважно. Все они хоть чуточку и вышли из древнерусской темноты, но тоже по-прежнему сливаются для меня в туманной неопределенности, а их стихи по большому счету кажутся мне чистой воды графоманией.

Дело в том, что не только литература, но и русская история до начала XIX века вызывает у меня сильные сомнения. Да была ли она? Вроде как была, ведь писал же о чем-то Карамзин в своем многотомном сочинении. Не будем заглядывать слишком далеко и задаваться вопросом: нужно ли было бородатым русичам с жизнерадостными идиотическими именами Улыба и Горазд вмешательство нордических Рюриков для элементарного упорядочения своего неряшливого быта, или же они сумели обойтись без них. Не будем забираться столь далеко. Но и русская история XVIII века кажется мне какой-то не совсем настоящей: чего-то в ней явно не хватает, чтобы начать воспринимать ее до конца всерьез, как историю взрослых полноценных людей. Есть что-то в облике персонажей русской истории тех лет неестественное и несуразное: уж больно неловко и мешковато сидят на них дорогие, расшитые золотом камзолы, а напудренные белоснежные парики неизменно кажутся как бы чуточку съехавшими набок, подобранными не по размеру. Этим герои русской истории XVIII века очень сильно отличаются, например, от французских исторических персона-

жей того времени, на которых и камзолы и парики сидят безукоризненно. В чем тут дело? Чего не хватает всем этим персонажам? Ведь они, как и положено, участвуют в войнах, плетут интриги, танцуют на балах, совершают дворцовые перевороты... Чего же не хватает всем этим реально существовавшим, совершавшим подвиги героям, чтобы по-настоящему, до конца, целиком и полностью войти в Историю человечества? На мой взгляд, им всем и не хватает как раз того, что обычно называется «глубиной национального самосознания», выраженного в таких необязательных и ненужных в практическом отношении вещах, как Культура вообще и Литература в частности. Все-таки переживание какого-либо исторического факта или события всегда еще и сопереживание, требующее присутствия в той или иной эпохе близких тебе по духу людей, каким-то образом обозначивших это свое присутствие. Думая на эту тему, я невольно прихожу к пониманию значимости Литературы, которое, признаюсь, раньше от меня часто ускользало, например, во время того же посещения мероприятия под названием «Невостребованная Россия».

История без Литературы – это все равно что, к примеру, Петербург без Достоевского. Кому нужен был бы этот, пусть даже неплохо и симметрично построенный город, если бы не Раскольников, крадущийся с топором по заплечанной темной лестнице? Валили бы сюда косяком западные обыватели, пополняя запасы валюты в городском бюджете? А ныне при хорошо организованном туристическом бизнесе жители Петербурга могли бы жить, пожалуй, не хуже, чем арабские нефтяные шейхи. Думаю, в этом предположении нет большого преувеличения, ведь и в Париже чашка кофе в кафе, где некогда обедал Верлен, стоит франков на двадцать дороже. Самое главное, что даже никаких процентов от доходов наследникам Достоевского платить не надо, потому что получение этих доходов, в сущности, недоказуемо, об этом можно только догадываться и рассуждать, хотя лично для меня это и очевидно. В Истории необходимо присутствие глубины и полноты самосознания – одних поступков и фактов явно недостаточно! Доказательство – Библия, Книга, перевесившая богатую фактами античную историю...

Жизнь обывателя тоже бывает насыщена всевозможными событиями, катаклизмами, переживаниями и потрясениями, но все равно выглядит как-то серо и неинтересно. Ведь все это не более чем набор голых фактов, что-то вроде голых стен крупного провинциального города, не отягощенного присутствием гения. Чем была бы Флоренция без Данте и Макиавелли? О, она бы была не более привлекательна для туристов, чем расположенный в Кемеровской области город Новокузнецк! Хотя, конечно же, кемеровские шахтеры живут по-своему насыщенной жизнью: трудятся, гибнут под завалами, требуют выплаты зарплаты... А чем была бы даже такая не совсем обычная жизнь, как жизнь Григория Распутина, если бы не незримое присутствие его современников, Блока и Кузмина, которые сами могли ничего про него не писать, но живя в то же время, как бы невольно переживали и осмыслили факты его жизни?! Да, я знаю где-то читала, – что двор Елизаветы был едва ли не самым блестящим в Европе, однако жизнь французских обывателей, имевших у себя в прошлом в качестве фона Вийона и Мольера, а в настоящем – Лакло, все равно выглядит более полноценной и насыщенной, чем жизнь их русских современников с причитаниями Ярославны, Ломоносовым, Третьяковым, Барковым и Державиным за плечами. Таким образом, русской истории XVIII века явно не хватает полноты осмысления, то есть Литературы, и этот факт снова побуждает меня усомниться в подлинности того, что себя тогда таковой называло.

В ранней молодости, еще до сожжения диплома, прежде чем отправиться в сомнительное путешествие в самые отдаленные и маргинальные сферы социума, мне довелось поработать в нескольких обывательских конторах, причем на вполне приличных должностях – в одном месте я даже дослужилась до старшего научного сотрудника. И практически во всех этих заведениях мне пришлось столкнуться с проявлениями какой-то непостижимой тяги к стихосложению со стороны личностей, которых на первый взгляд меньше всего можно было

заподозрить в подобной слабости. Как правило, это были солидные пожилые мужчины с благородной сединой на висках из числа начальников отделов, а то и выше, многие из них даже успели побывать на войне или же на худой конец просто в армии и уйти в отставку в звании майоров и подполковников. Так вот, эти солидные на вид, умудренные богатым жизненным опытом мужи, нисколько не смущаясь присутствием своих подчиненных и не боясь скомпрометировать себя в их глазах, могли в любой момент достать из внутреннего кармана своего пиджака тщательно сложенный листочек бумаги из ученической тетради и начать декламировать вслух записанную на нем рифмованную галиматью о природе, любви, весне и здоровье. Точнее, делали они это не совсем в любой момент, а, как правило, по случаю Восьмого марта или же дня рождения какой-нибудь сотрудницы возглавляемого ими отдела. Иногда сочиненное ими поздравительное стихотворение было написано не на бумаге, а на открытке – в этом случае, завершив декламацию, они вручали эту открытку вместе с заранее заготовленной шоколадкой или букетиком цветов виновнице торжества. У меня где-то даже до сих пор сохранилась одна такая открытка... Вот такого седеющего советского бонвивана мне почему-то всегда напоминал «старик Державин». Раньше я никогда не задумывалась почему, просто мне всегда было трудно воспринимать всерьез его написанные по всевозможным поводам оды, несмотря на очевидные достижения в области версификации в сравнении с откровенно беспомощными стихами, которые дарили мне мои начальники. «Фелица», «На взятие Варшавы», «На взятие Измаила», «Похвала сельской жизни», «Вельможа»... Что там еще, уже не помню... Теперь я понимаю, в чем тут дело. Жизнь – отдельно, служба – отдельно, чувства – отдельно, а стихи – отдельно, ни намек на хотя бы самое слабое, робкое намерение все это соединить, схватить и выразить жизнь во всей ее полноте... А это, на мой взгляд, и есть чистой воды графомания, точно такая же, в сущности, как и творчество отставных советских полковников и майоров, даже интонации те же, такое же неуклюжее безвкусное смешение жеманства и грубости. А пресловутое державинское смешение высокой и низкой лексики? Бросающаяся в глаза корявость стиля?! Вряд ли тут приходится говорить о сознательном стилистическом приеме, скорее, это нечто вроде неловко сидящих на головах русских дворян XVIII века париков, явление того же порядка. И напрасно Ходасевич пытается романтизировать биографию Державина, описывая его карточные долги, кутежи и воинские подвиги, его книга о Державине – это всего лишь кокетливый жест эстета, поверхностный парадокс. С таким же успехом можно садиться за написание биографий советских чиновников вроде Александра Фадеева или Михаила Светлова – никто не заставит меня открыть эти книги!.. В общем, по большому счету русская литература и в самом конце XVIII века еще не началась!

Трудно сказать, что заставило стареющего Державина расплакаться на выпускном экзамене в Лицее. Что увидел он в юном Пушкине? А может быть, все гораздо проще, и это были слезы впавшего в маразм старика? Как бы то ни было, но эта встреча мало напоминает встречу умудренного опытом Верлена с юным Рембо. Перечитывая «Лицейским садам», не нахожу в них ничего, кроме неумеренной напыщенности и ложного пафоса, ну и еще более или менее умелой версификации, бойкого рифмоплетства. Вот такого более умелого, чем он сам, версификатора, должно быть, и увидел в Пушкине Державин, то есть опять-таки графомана, продолжателя графоманской традиции. И по большому счету не ошибся!

Пушкин, конечно, не кажется мне столь неотесанным и грубым, как поэты XVIII века, но он все равно сохранил в себе их двойственность. Характеризовал же он адресата своих стихов «Я помню чудное мгновенье» Анну Керн как «вавилонскую шлюху», причем фактически одновременно со стихом – в письме. Кому-то этот факт может показаться даже забавным. Но тот же Лермонтов, к примеру, обязательно постарался бы выразить всю полноту своих ощущений от объекта вдохновения в чем-нибудь одном: либо в стихотворении, либо в письме. В том-то все и дело, с этой тяги к полноте, с присутствия самого этого стремления

выразить, схватить все в одном и начинается для меня Литература. А все прочее – графомания!

Так стоит ли удивляться, что в XX веке советские литературные чиновники вновь так воспылали любовью к Пушкину и вцепились в него мертвой хваткой?! Не могу избавиться от ощущения, что после 17-го года Россия снова впала в состояние... нет, не «нового Средневековья», а «новой древнерусскости». Тем же грубым жеманством русского XVIII века веет ото всех этих новых гораздов и улыбок в съехавших набок напудренных париках, пьющих, буянящих и бьющих друг другу физиономии в буфетах Домов писателей. Они так же проигрываются в картишки, ходят на охоту и рыбалку, заводят любовниц, трахаются и даже воют, сочиняя на досуге стихи и прозу по всевозможным случаям и поводам. Но почему-то мне все это неинтересно! И Пушкин их мне тоже неинтересен... И можно сколько угодно повторять, что все это «тоже наша история», все равно «все это» никогда нашей историей уже не станет: не хватает всем этим замечательным фактам и подвигам полноты осмысления. Порвалась связь времен, увы! А некоторые звенья из этой цепочки и вовсе выпадают. Ну, в 30-е годы в качестве Рюрика еще выступил француз Селин, посетив Ленинград, кое-что осмыслив и упорядочив в русском быте тех лет в своих до сих пор запрещенных во Франции «Безделицах для погрома». Правда, для большей полноты мне бы очень хотелось найти еще и докладные записки его гида Натали, которые, наверняка, где-нибудь и сейчас пылятся в архивах ФСБ. Интерес у меня к этим документам сугубо филологический, литературоведческий и эстетический. Два взгляда на одни и те же факты плюс еще какие-нибудь данные наружного наблюдения – чем не «Расемон»!

Иногда я вообще ловлю себя на мысли, что напрасно я стала писательницей, начала сочинять романы, теперь в результате все меня считают за полную идиотку. А ведь я вполне могла бы стать ученым, филологом, защитить диссертацию и даже сделать научное открытие. Например, обнаружить где-нибудь в архиве, на сей раз питерского дурдома, блокадные дневники Хармса, не сомневаюсь, с очень оптимистическим названием: «Надежда умирает последней» (по имени санитарки). Тогда бы это полностью выпавшее из русской истории звено тоже восстановилось... А так один сплошной мрак и непроницаемая ночь. «Все забыты и всё забыто!» Пятидесятые годы и того хуже. Единственное яркое событие – самоубийство Александра Фадеева! Но и оно не заставит меня сесть за чтение его биографии – извините, что повторяюсь. Недостаточно просто пить, чтобы стать хотя бы Есениным. Нет, напрасно все-таки обыватели так не любят гениев. Вот тот же Чернов, к примеру, возьмет и подаст на меня в суд. А ведь, может быть, я – это его шанс попасть в Историю, по крайней мере в историю литературы.

Словом, для меня русская литература начинается с Лермонтова, с его: «О как мне хочется смутить веселость их, и дерзко бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью»... Был, правда, еще Жуковский – очень странный тип, сын турчанки, воспитатель царской семьи; кажется, он был «из наших», «в теме»...

Несколько лет назад по телевизору один из воротил отечественного шоу-бизнеса – к сожалению, не помню его фамилию, помню только, что это был мужик с совершенно квадратной головой – так вот он неожиданно для меня тогда заявил, что если артист придерживается традиционной сексуальной ориентации, то он его вообще не интересуется, то есть это уже и не артист вовсе, а так... Тогда я, помню, рассмеялась, а теперь понимаю, что в чем-то он был прав. В чем – сказать не могу, только он невольно схватил что-то очень важное и существенное для культуры вообще, а не только для шоу-бизнеса. Тот же Жуковский, к примеру, в русской литературе, в сущности, тоже не отметился ничем, кроме более или менее умелой версификации, но даже в советских учебниках литературы, где он неизменно находился где-то между Пушкиным и Державиным, всегда все равно, несмотря ни на что, был окутан для меня какой-то загадочной романтической дымкой, то есть и рядом с ними, даже между них,

он почему-то всегда оставался как бы чуточку «чужим среди своих». Так, во всяком случае, мне казалось еще в детстве. Хотя смысл переведенной им баллады «Лесной царь» до сих пор, спустя годы, после многократных прочтений, так и остался для меня непроясненным. «Ездок погоняет, ездок доскакал... В руках его мертвый младенец лежал». Почему вдруг умер младенец? Придется все-таки обратиться к первоисточнику!

Конечно, существовал еще и Баратынский. С ним тоже не все ясно. Темная лошадка. Может, и он того?.. Во всяком случае, в советских учебниках он всегда находился в тени, в тени «великого Пушкина». На нем тоже лежала печать какой-то недосказанности, недоговоренности, а значит, таинственности. Автор второго плана, серебряный поэт золотого века русской поэзии. Редкий случай, а в русской литературе вообще первый – Баратынский был повернут к читателям своими стихами, – получалось, что его поэзия важнее фактов его жизни! Удивительно! Но потом все прояснилось. Оказывается, в юности он с товарищами совершил кражу со взломом, причем не шуточную, а на сумму в пятьсот рублей. Очень долго объяснять, сколько стоил тогда рубль, да я и сама точно не помню, но стоил он немало, это уж точно. К тому же Баратынский и его поделники взяли деньги вместе с золоченой табакеркой, в которой они лежали. И все под влиянием «Разбойников» Шиллера. Естественно, не Державина же! Следствием этого поступка стало исключение из Пажеского корпуса, а также запрет на службу офицером. В результате он вынужден был появляться на всех великосветских тусовках и балах в солдатской шинели, совсем как Грушницкий, точнее, тот, кому Грушницкий хотел подражать. Очень романтично!

В общем, педагогам и составителям учебников было что скрывать от подростков за стихами.

Пример Баратынского, да, пожалуй, и Жуковского тоже, наводит меня на мысль, что настоящий поэт обязательно должен быть отмечен каким-нибудь тайным пороком, в котором ему по-настоящему мучительно стыдно и практически невозможно признаться. Очень важно, чтобы писателю было, что скрывать. Без этого тайного порока литература – как пища без приправы. В этом, я думаю, и кроется разгадка парадоксальной непереводаемости на другие языки лирики Пушкина. Все очень просто – переводить-то, собственно, нечего. Со стороны-то виднее! Подумайте, зачем человеку, которому не грозит ни плохая оценка в школе, ни наказание по партийной линии, ни исключение из Союза писателей и тому подобное, зачем ему читать подобную плоскую чушь:

Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...

– пусть даже в самом замечательном, точном переводе! Нормальный, свободный от принуждения человек этого, на мой взгляд, читать не будет. Если, конечно, он уже не впал в полный маразм, как «старик Державин». В «Чудном мгновении» нет ни грамма поэзии! Потому что раз уж ты полюбил «вавилонскую шлюху», то нечего об этом трепать: «Молчи, скрывайся и тай!» Поэзия должна быть не глуповата, а молчалива. В детстве мы с подружкой тоже, кстати, воровали краски и пластмассовых зайчиков в магазине, причем безо всякого влияния Баратынского или тем более Шиллера, который к тому времени давно вышел из моды. А о таком писателе, как Жене, я тогда даже еще и не слышала. То есть мы действовали исключительно из корыстных побуждений. В конце концов нас поймали и отправили в милицию. Но меня даже из школы не исключили, просто дома больно ударили резиновым шлангом по голове.

Был еще, кажется, такой Языков, тоже на заднем плане. Почти ничего о нем не помню. Кажется, он перед смертью велел накрыть столы, пригласил знакомых, в общем, устроил «большую жратву». Так и умер!

Батюшков был серьезно болен, страдал головой. Кюхельбекер, как мне кажется, тоже. И если внимательно перечитать книгу о нем Тынянова, но не в детстве, а во взрослом возрасте, то можно в этом лишний раз убедиться. Никаких сомнений не остается. Но тем не менее Кюхельбекер был признан вменяемым и надолго упрятан за решетку. Несправедливо! Вяземский...

А может быть, русская литература началась с Гоголя?! Гоголь – бесспорно, самая загадочная фигура во всей русской литературе. Редкий, с трудом поддающийся обработке алмаз. В отличие от того же Пушкина ему нисколько не повредило даже преклонение коммунистов. И в самом деле, моралисты и либертены, бедные и богатые, умные и не очень, западники и славянофилы, мизантропы и филантропы, правые и левые, и даже православные и сатанисты в равной мере и по сей день находят в его книгах все, чего ищут. В то время как недовольство Достоевским, например, в рядах его соотечественников ширится и растет, авторитет Гоголя остается непоколебимым. Но никому и в голову не придет назвать его «наше все». Скорее, он напоминает растущую в отдалении ото всех высоко на холме вечнозеленую сосну, равнодушно взирающую на смену времен года и погодных условий и остающуюся при этом абсолютно неизменной, точнее, продолжающую свой скрытый от постороннего взгляда медленный рост – прошу прощения за этот невольный прозаический пересказ известного стихотворения. Единственным, кто решился наехать на Гоголя, был Розанов, точнее, его глубоко верующая жена, которой очень не нравился его смех. Но кому интересно мнение какой-то домохозяйки?! Сам Розанов, видимо, желая угодить жене, заподозрил Гоголя в некрофилии, его смущала некоторая странность женских образов, например в «Вие»: панночка в гробу, и вообще... Ну и что? Зато коммунисты видели в нем предтечу соцреализма и очень ценили его жизнерадостный смех и исторический оптимизм, особенно в «Тарасе Бульбе», где отец убивает сына, повинувшись чувству долга. Первая «оптимистическая трагедия» в русской литературе! Любовь Яровая и Павлик Морозов имеют возможность сослаться на классика. Ну и что, что отец убивает сына? Зато Гоголь написал «Нос», убедительно подкрепив это свое сочинение собственным впечатляющим профилем. К тому же, говорят, в быту это был очень странный человек – не мог сидеть за общим столом с посторонними, не говоря уже о сожженной рукописи. В общем, несмотря на то, что у него отец убивает сына, а не наоборот, как положено нормальному пациенту психоаналитика, именно Гоголь внес самый существенный вклад в то, что русские писатели, да и вообще все русские, в конце концов стали любимыми пациентами доктора Фрейда. С ним в этом отношении может поспорить разве что Достоевский.

Ах да, ну конечно, был же еще Грибоедов! Его мать не хотела, чтобы ее сын отвлекался на занятия литературой, настаивала, чтобы он полностью посвятил себя дипломатической карьере. Совсем как моя мамаша, которая не понимает, чем я занимаюсь, и моих книг не читает – к счастью!.. Что поделаешь, в каждом аристократе есть что-то от обывателя, а в обывателе – от аристократа. Точно так же, как и в каждом гении есть что-то от графомана, а в графомане – от гения, какое-то чисто внешнее сходство, для поверхностного взгляда. И Грибоедов, вслед за Гоголем, в своем творчестве сделал упор на этом сходстве аристократов с обывателями.

Как бы то ни было, но сам он родился в аристократической семье, и его мать желала, чтобы он полностью посвятил себя службе, как и положено аристократу. В общем, она надеялась, что ее сын станет Молчалиным, а тот предпочел стать Чацким. Но в конце концов он все равно погиб, растерзанный разъяренной толпой, то есть не от ума, а на службе, – в сущности, по вине собственной матери. Представляю, что стало бы со мной, если бы я слу-

шала свою мамашу! Была бы я сейчас вторым секретарем в представительстве Морфлота где-нибудь в Луанде, а может, и того хуже, в Исламабаде...

Но был ли на самом деле умен Чацкий? Пушкин, как известно, сомневался в его уме. Белинский тоже. Помнится, этот вопрос порой даже делали темой школьных сочинений. Очевидно, считалось, что если сам Пушкин усомнился в уме Чацкого, считай, Грибоедова, раз уж тот назвал свою пьесу «Горе от ума», то и любой советский школьник тоже имеет право в их уме усомниться. И самые ушлые ученики выражали свое сомнение в уме Чацкого. Как правило, это были мальчики из числа тех, кто пользовался особым расположением учительницы литературы. Такое сомнение гарантировало им оценку «отлично». Я себе ничего подобного позволить не могла. Слишком большой риск! Меня и так несколько раз ловили в туалете с сигаретой... Да и сейчас я себе все еще подобного сомнения позволить не могу в силу ряда обстоятельств.

Нет, забавно все-таки – всех в течение ста лет буквально клинило на «Бесах» и Достоевском, а к власти в России в самый что ни на есть переломный момент ее истории взяли и пришли молчалины! И кое-кто из тех, кто считал себя самым умным, уже кричит: «Карету мне, карету!» И кто бы мог подумать, что не Достоевский, а Грибоедов вдруг окажется настоящим пророком?! А ведь кто-кто, но этот остроумный юноша в очечках, казалось бы, меньше всего в русской литературе претендовал на эту роль!

Но если уж на то пошло, то подлинный герой и должен быть молчалив. Дантес например. Это мой любимый герой во всей русской литературе, он ведь был вынужден молчать, хотя бы потому, что не знал русского. Не знаю, как по-французски, но по-русски он молчал, это точно. Иногда я даже всерьез думаю, что именно с Дантеса и началась русская литература, с его молчания. Французский аристократ, окруженный достаточным количеством культурных знаков в лице Вийона, Рабле, Мольера, Лакло, мог себе это позволить. Молчание – это знак полноты. Хотя женщинам, я думаю, мой выбор не понравится, потому что Дантес, в отличие от Молчалина, был еще и красив.

А женщины красоту не выносят, она их раздражает, они слишком слабы и вынуждены бороться за существование, подчиняться грубой силе. Правда, не стоит говорить им об этом, лучше подарите юной жене лысеющего бесформенного банкира букет хризантем, – тем самым вы ей ужасно польстите, признаете за ней право любить эти бесполезные, но красивые цветы. Дайте ей эту игрушку, раз уж она не может себе позволить подобного в жизни. Но я и не думаю осуждать женщин, скорее, я им сочувствую – им и их нелегкой женской доле. Как сочувствую, например, Ахмадулиной, вынужденной петь дифирамбы уродливому, но конъюнктурному Пушкину, я даже готова была бы сама, лично, преподнести ей букет цветов, так как не понимаю, чем, собственно, она отличается от несчастной жены банкира или советского номенклатурного работника. Впрочем, так ли уж они несчастны? В сравнении с кем? Со мной, что ли? И все-таки только императрица Екатерина могла позволить себе царственным жестом выбирать хорошеньких офицеров. Я об этом.

Вот и я вопреки всему позволю себе предпочесть Дантеса Пушкину, хотя он сам, насколько я понимаю, предпочитал мужчин. Его женитьба на невзрачной княжне, якобы хранящей в своей внешности отблеск-воспоминание о своей сестре, выглядит слишком неземной и романтической, чтобы в реальной жизни и в самом деле быть таковой. Если отнестись к этому факту всерьез, то Дантес невольно превращается в опереточного персонажа, героя «мыльной оперы». Но я так не думаю. Скорее, в его поступке сквозит равнодушие к женщинам, и Дантесу, не сомневаюсь, в сущности, было все равно, на ком жениться, так как женщины его особенно не интересовали. Так в подобных случаях чаще всего и бывает! Кстати, это не просто мои домыслы, существуют вполне определенные документальные свидетельства. И ничего удивительного в этом нет. Дантес был слишком красив, а красота – это сугубо мужское дело. К тому же нет, мне кажется, ничего более банального и пошлого в этом мире,

чем любовь мужчины к женщине и наоборот. Не представляю даже, что нужно было бы сейчас предпринять, чтобы хоть чуть-чуть оживить это плоское чувство. «Кубанские казаки» в сравнении с «Мужчиной и женщиной» Лелюша выглядят просто нетленным шедевром! Хотя лично мне «Казаки» совсем не нравятся, я ведь воспитана на Тарковском.

В феминизм, впрочем, я тоже не верю, так как это все теории, а на практике женщины ревнуют и ненавидят друг друга лютой ненавистью, я в этом не сомневаюсь и не раз убеждалась на собственном опыте. Так что женщина в современной культуре обречена. Ей лучше вообще сидеть и не высовываться, а женщина, сделавшая ставку на красоту, – обречена вдвойне. Ну и ладно. Я бы и сама литературу женщинам не доверила. Они бы сразу все повыскакивали замуж за фадеевых и пушкиных. А я все-таки предпочитаю Дантеса!

У меня даже есть мечта когда-нибудь снять о нем фильм. Пусть бы он так и назывался – «Дантес». Никакого насилия или порнухи, только легкие поцелуи, балы, в общем, самая обычная костюмная драма, даже мелодрама, не обязательно малобюджетная, с некоторым размахом, с деталями эпохи... А в остальном – самая обычная жизнь обывателя-аристократа. Вот это был бы абсолютно молчаливый и по-настоящему не переводимый на другие языки фильм! Не сомневаюсь, что его бы почти сразу же запретили. Первый протест пришел бы от «Женщин России», второй – от правозащитников из ПЕН-клуба. Ну а потом уже, как и положено, – от патриарха, затем – муфтия...

В моих рассуждениях есть какое-то слабое звено, они строятся на недоказанных предположениях и неопределенных понятиях. Например, что такое гениальность? Вообще-то, я не сторонница методологических уточнений. Я считаю, если долго употреблять какое-либо слово, то взрослые люди в конце концов сами разберутся, что ты имеешь в виду. Если же все уточнять, то так твоя машина вообще не сдвинется, будет вечно буксовать на одном месте. Как это чаще всего и происходит с философами. А мне всегда хочется слишком многое сказать... Однако в данном случае я все-таки могу дать точное определение. Оно пришло мне в голову в тот самый момент, когда я впервые прочитала известное высказывание Ницше о величии как о неразоблаченном преступлении. Так вот, *гений – это обыватель, которому удалось убедить толпу в собственной гениальности*. В этом случае все перед ним преклоняются, и он остается в веках. Если же толпе удастся уличить гения в том, что он обыватель, то его предадут забвению.

Такое определение мне очень долго нравилось и даже казалось абсолютно неопровержимым, однако недавно мне впервые пришлось в нем усомниться. И произошло это прошлым летом в Париже, на грандиозной тусовке во французской Национальной библиотеке. Чествовали Селина, точнее, отмечали приобретение библиотекой рукописи Селина за рекордную для XX века сумму – 1,6 млн долларов. Среди прочего в программе вечера была демонстрация документального фильма о Селине, снятого для телевидения буквально за год до его смерти. Сам Селин фильма так и не увидел, он вышел на экраны только через четыре года после его смерти. В сущности, это был даже не фильм, а заснятое на пленку интервью. Чуть позже, тоже в Париже, я встретила старушку-писательницу, которой каким-то непонятным для меня образом довелось присутствовать при этом интервью. По ее словам, Селин поначалу был вроде бы даже тронут тем, что его хотят снять для телевидения, но после первых же вопросов впал в ярость и едва не выгнал интервьюера, а затем опять смягчился и согласился продолжить беседу. Сама старушка-писательница была автором многочисленных слащавых биографий известных деятелей французской культуры – парочку увесистых томов она дала мне почитать. Узнав, что я не только перевожу Селина, но во многом разделяю его взгляды, она выразила искреннее сожаление, что такое разочарование в людях постигло меня в столь молодом (видимо, в сравнении с ней) возрасте, так как Селин, по ее мнению, был законченным параноиком.

Впрочем, никакой старушки, точнее, никакой молодой девушки, какой она в то время должна была быть, в фильме я не заметила. Да и бравший интервью журналист мелькнул в кадре всего пару раз. На экране был один Селин. У себя дома, в Медоне, истощенный, с лихорадочным взглядом, весь замотанный в какое-то тряпье, в общем, в точности такой, каким я его себе и представляла, как бы сошедший со страниц своих поздних книг. При каждом вопросе журналиста его лицо принимало сосредоточенное выражение, он на несколько секунд задумывался, но все равно неизменно всякий раз отвечал невпопад. Например, на вопрос о том, где он впервые увидел природу, последовал ответ: «На кладбище», – ну и так далее. После нескольких столь неожиданных ответов среди зрителей послышался смех и по ходу интервью этот смех становился все более дружным и громким.

А надо сказать, что публика в зале собралась очень серьезная и напыщенная – кажется, там присутствовала вся Французская академия. Кое-кого я даже заочно знала, например, директора библиотеки по фамилии Реми, во всяком случае, это имя мне показалось знакомым, – вроде бы его печатали в «Иностранной литературе», хотя я и не уверена, потому что не держала в руках этот журнал уже лет пятнадцать. Он был в пиджаке и галстуке, и еще в шарфе, но не тоненьком шелковом, как у академика Пиотровского, а огромном шерстяном, свисающем почти до колен. Кроме того, в фойе перед началом фильма я натолкнулась на главу Гонкуровской академии Франсуа Нурирье. Седой и сгорбленный, он шел, стуча палкой и уставившись прямо перед собой ничего не видящим взглядом. Меня он, естественно, не узнал, хотя я встречалась с ним четыре года назад во время своего прошлого приезда в Париж. Там же в фойе я натолкнулась на Режи́н Дефорж, автора эротических новелл, французскую издательницу Лимонова. Помню, мне как-то даже предложили перевести один из ее рассказов, в котором голая баба всю ночь бегала по универмагу, и пришедшие утром уборщицы так и застали ее в неглиже... Но я так и не перевела этот рассказ, что-то в последний момент сорвалось. С ней самой я тоже была немного знакома, но на сей раз я от нее даже невольно отшатнулась, настолько у нее было потрепанное испитое лицо с вытаращенными безумными глазами. Четыре года назад она выглядела гораздо лучше. Во время демонстрации фильма, кстати, я сидела рядом с сирийкой, которая, собственно, и дала деньги библиотеке на приобретение рукописи. Я знала, что это был уже не первый ее жест доброй воли, до этого она также дала деньги еще и на приобретение рукописи «Замогильных записок» Шатобриана. Это была довольно молодая баба со светлыми волосами, в сильно декольтированном вечернем платье. Она сидела сразу же слева от меня, а слева от нее соответственно сидел директор Национальной библиотеки Реми. Кажется, я оказалась на этом почетном месте по чистой случайности, хотя не знаю, может, и нет: мой спутник-француз, пригласивший меня на вечер, тоже был не последним человеком в этой среде. Естественно, я сама как переводчица Селина считала, что занимаю место в первом ряду по праву и вполне его заслужила. Однако сразу же после окончания торжественной официальной части этого мероприятия меня постигло сильное разочарование. Дело в том, что после демонстрации фильма, как это обычно и бывает в подобных случаях, должен был еще и состояться званый обед. И я, в течение всего вечера сидевшая в первом ряду рядом с непосредственной виновницей торжества и тем самым невольно приковывавшая к себе взгляды всего зала, была совершенно уверена, что уж меня-то, так много сделавшую для популяризации Селина в России, обязательно на этот обед пригласят. А кого же еще туда приглашать? Не этих же зажавшихся членов Французской академии, которые не имели к Селину, в сущности, никакого отношения, тем более что и сам Селин при жизни неоднократно над этой Академией издевался. Я настолько в этом не сомневалась, что даже утром того дня не стала завтракать – зачем тратить драгоценную валюту, если вечером ты можешь хорошо поесть за чужой счет? Да и лишние калории мне были ни к чему... Увы, меня ждало глубокое разочарование. Двери званого обеда захлопнулись перед самым моим носом, и я, голодная, оказалась на улице.

На обед пошли только сытые и осмеянные Селином члены Французской академии вместе с моим галантным спутником-французом – он, собственно, меня и подставил.

Оказавшись на улице, я невольно вспомнила Лермонтова: «Когда безмозглою толпою окружен...» А что мне оставалось?

Бесспорно, во всей этой ситуации было нечто банальное. Оборванный нищий гений на экране и сытая хихикающая толпа в зале. Естественно, никто и не думал смеяться над Селином, все смеялись исключительно от восторга, это был смех умиления перед гением. Но какая разница! Конечно, если бы все прошло гладко и дверь обеденного зала не захлопнулась перед самым моим носом, я бы, возможно, так и ограничилась этим отвлеченным и не слишком оригинальным противопоставлением толпы и гения, а мое желание «смутить веселость» толпы не было бы столь острым и напряженным, однако эта маленькая неудача невольно заставила меня гораздо глубже пережить всю ситуацию. Именно эта неудача сделала тот вечер по-настоящему незабываемым событием в моей жизни, так как в данном событии, как в капле воды, отразилась, в сущности, вся моя жизнь. Я тогда это вдруг поняла. Ну, естественно, и жизнь Селина, само собой. В общем, образ захлопнувшейся перед моим носом двери был в высшей степени символичен!

И в самом деле, в тот памятный вечер я невольно стала участницей классического фокуса-покуса, который деятелям современной культуры почему-то больше всего нравится показывать доверчивым зрителям. От этой частоты показа фокус, конечно, сильно примелькался, но почему-то – о, это просто удивительно! – так и остается не разгаданным до конца до сих пор. А в тот раз деятели французской культуры просто превзошли самих себя. Оборванный истощенный гений – на экране, в зрительном зале – неоднократно осмеянные им члены Академии, в которую он сам, кстати, так и не вступил, – и астрономическая рекордная сумма, как бы врученная как бы присутствующему в зале виртуальному гению, чтобы он наконец-то мог купить себе немного морковки и заплатить за электричество... И все очень демократично! В первом ряду, у всех на виду, рядом с миллионершей-меценатшей сидит русская переводчица Селина, по чистой случайности, возможно... Но она, эта переводчица, тоже, видимо, по чистой случайности чуть позже будет не допущена к обеденному столу, хотя она сама вроде бы как и не прочь поесть, потому что она ведь из голодной и нищей России. Но на обед идут только члены Академии, не имеющие к подлинному виновнику торжества абсолютно никакого отношения. В общем, нарочно не придумаешь!

Однако во всей этой череде видимых случайностей есть своя логика, причем эту логику вполне можно было бы даже назвать железной. И в соответствии с этой железной логикой гению не должно доставаться ничего материального, только виртуальное, то есть духовное. А так как переводчик Селина в каком-то смысле является носителем его духа, хотя бы как его интерпретатор на русском и т. п., то и ему по возможности не должно достаться ни одного кусочка с обеденного стола. В этом, собственно, и заключается смысл фокуса, невольной участницей которого я стала. Кесарю – кесарево, а гению – гениево! То есть ничего материального, иначе весь этот фокус теряет смысл.

Во время демонстрации фильма на замечание интервьюера по поводу его репутации мизантропа и антисемита Селин ответил опять невпопад: «Ну это просто потому, что я много работаю!» Этот неожиданный ответ на столь щекотливый вопрос вызвал, кажется, самый громкий и умильный смех в зале и даже сорвал аплодисменты. После этого публика окончательно раскрепостилась. Вот и я не попала на обед, потому что слишком много работала – переводила Селина...

Что ж, деньги – деньгами, обед – обедом, зато гению достаются смех, слезы умиления и аплодисменты. В том-то и дело, что не достаются! Аплодисменты и смех тоже достались только виртуальному Селину на экране, а сам он при жизни не увидел даже этого своего интервью, так как интервью, заметьте, вышло на экраны телевизоров только через четыре